

## НЕЧТО О НАУКАХ, ИСКУССТВАХ И ПРОСВЕЩЕНИИ

Que les Muses, les arts et la philosophie  
Passent d'un peuple à l'autre et consolent la vie!

*St. Lambert*<sup>1</sup>

Был человек — и человек великий, незабвенный в летописях философии, в истории людей, — был человек, который со всем блеском красноречия доказывал, что просвещение для нас вредно и что науки несовместны с добродетелию!

Я чту великие твои дарования, красноречивый Руссо! Уважаю истины, открытые тобою современникам и потомству, — истины, отныне незагладимые на досках нашего познания, — люблю тебя за доброе твое сердце, за любовь твою к человечеству; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы — парадоксами.

Вообще рассуждение его о науках<sup>2</sup> есть, так сказать, логический хаос, в котором виден только обманчивый порядок или призрак порядка; в котором сияет только ложное солнце — как в хаосе творения, по описанию одного поэта, — и день с ночью непосредственно, то есть без утра и вечера, соединяются. Оно есть собрание противоречий и софизмов, предложенных — в чем надобно отдать справедливость автору — с немалым искусством.

«Но Жан-Жака нет уже на свете: на что беспокоить прах его?» — творца нет на свете, но творение существует; невежды читают его — самые те, которые ничего более не читают, — и под эгидою славного женевагражданина злословят просвещение. Если бы небесный Юпитер отдал им на время гром свой, то великолепное здание наук в одну минуту превратилось бы в пепел.

Я осмеливаюсь предложить некоторые примечания, некоторые мысли свои о сем важном предмете. Они не суть плод глубокого размышления, но первые, так сказать, идеи, возбужденные чтением Руссова творения<sup>3</sup>.

Со времен Аристотелевых твердят ученые, что надобно определять вещи, когда желаешь говорить об них и говорить основательно. Дефиниции, или определения, служат **фаросом** в путях умствования — фаросом, который беспрестанно должен сиять пред глазами нашими, если мы не хотим с прямой черты совратиться. Руссо пишет о науках, об искусствах, не сказав, что суть науки, что искусства. Правда, если бы он определил их справедливо, то все главные идеи трактата его поднялись бы на воздух и рассеялись в дыме, как пустые фантомы и чада Химеры: то есть трактат его остался бы

<sup>1</sup> Пусть музы, искусства, философия переходят от народа к народу и улаживают жизнь! *Сен-Ламбер (франц.)*. — *Ред.*

<sup>2</sup> Discours sur la question, proposée par l'Académie de Dijon, si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs? (Рассуждение о вопросе, предложенном академией города Дижона, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов *(франц.)*. — *Ред.*)

<sup>3</sup> Новая пьеса одного неизвестного немецкого автора, которая нечаянно попала в мои руки и в которой бедные науки страдают ужасным образом, заставила меня прочесть со вниманием «Discours» de J.-J. («Рассуждение» Жан-Жака *(франц.)*. — *Ред.*). — Примечания мои неважны, но они по крайней мере не выписаны ни из Готье, ни из Лабурда, ни из Мену, которых я или совсем не читал, или совсем забыл. — Что же принадлежит до господина немецкого анонимуса, то он, кроме злобы, тупоумия и несносного готтедского слога, ничем похвалиться не может; на такие сочинения нет ответа.

в туманной области небытия, — а Жан-Жаку непременно хотелось бранить ученость и просвещение. Для чего же? Может быть, для странности; для того, чтобы удивить людей и показать свое отменное остроумие: суетность, которая бывает слабостью и самых великих умов!

Несмотря на разные классы наук, несмотря на разные имена их, они суть не что иное, как *познание природы и человека, или система сведений и умствований, относящихся к сим двум предметам*<sup>1</sup>.

От чего произошли они? — От любопытства, которое есть одно из сильнейших побуждений души человеческой: любопытства, соединенного с разумом.

Добрый Руссо! Ты, который всегда хвалишь мудрость природы, называешь себя другом ее и сыном и хочешь обратить людей к ее простым, спасительным законам! Скажи, не сама ли природа вложила в нас сию живую склонность ко знаниям? Не она ли приводит ее в движение своими великолепными чудесами, столь изобильно вокруг нас рассеянными? Не она ли призывает нас к наукам? — Может ли человек быть бесчувствен тогда, когда грома природы гремят над его головою; когда страшные огни ее пылают на горизонте и рассекают небо; когда моря ее шумят и ревут в необозримых своих равнинах; когда она цветет перед ним в зеленой одежде своей, или сияет в злате блестящих плодов, или, как будто бы утружденная великолепием своих феноменов, облекается в черную ризу осени и погружается в зимний сон под белым кровом снегов своих?

Обратимся во тьму прошедшего; углубимся в бездну минувших веков и вступим в те давно истлевшие леса, в которых человечество, по словам твоим, о Руссо! блаженствовало в физическом и душевном мерцании; устремим взор наш на юного сына природы, там живущего: мы увидим, что и он не только о физических потребностях думает; что и он имеет душу, которая требует себе не телесной пищи. Сей дикий взирает с удивлением на картину природы; око его обращается от предмета к предмету — от заходящего солнца на восходящую луну, от грозной скалы, опеняемой валами, на прекрасный ландшафт, где ручейки журчат в серебряных нитях, где свежие цветы пестреют и благоухают. Он в тихом восхищении пленяется естественными красотами, иногда нежными и милыми, иногда страшными: впивает их, так сказать, в свое сердце всеми чувствами и наслаждается без насыщения. Все для него привлекательно; все хочет он видеть и осязать в нервах своих; спешит к отдаленнейшему, ищет конца горизонту и не находит его — небо во все стороны над ним разливается — природа вокруг его необозрима и сим величественным образом беспредельности вещает ему: *нет пределов твоему любопытству и наслаждению!* — Таким образом, собирает он бесчисленные идеи или чувственные понятия, которые суть не что иное, как непосредственное отражение предметов, и которые носятся сначала в душе его без всякого порядка; но скоро пробуждается в ней та удивительная сила или способность, которую называем мы разумом и которая ждала только чувственных впечатлений, чтобы начать свои действия. Подобно лучезарному солнцу, освещает она хаос идей, разделяет и совокупляет их, находит между ими различия и сходства, отношения, частное и общее, и производит идеи особого рода, идеи отвлеченные, которые составляют *знание*<sup>2</sup>, составляют уже *науку* — сперва науку природы, внешности, предметов; а потом, через разные отвлечения, достигает человек и до понятия о самом себе, обращается от чувствований к чувствующему и, не будучи Декартом, говорит: «*Cogito, ergo sum*» — *мыслю, следственно существую*<sup>3</sup>; что ж я?.. Вся наша антропология есть не что иное, как ответ на сей вопрос.

<sup>1</sup> Познание сих двух предметов ведет нас к чувствованию всевечного творческого разума.

<sup>2</sup> Знать вещь есть не чувствовать только, но отличать ее от других вещей, представлять ее в связи с другими.

<sup>3</sup> Известный Декартов силлогизм.

И, таким образом, можно сказать, что науки были прежде университетов, академий, профессоров, магистров, бакалавров. Где натура, где человек, там учительница, там ученик — там наука.

Хотя первые понятия диких людей были весьма недостаточны, но они служили основанием тех великолепных знаний, которыми украшается век наш; они были первым шагом к великим открытиям Невтонов и Лейбницев — так источник, едва, едва журчащий под сению ветвистого дуба, мало-помалу расширяется, шумит и наконец образует величественную Волгу.

Кто же, описывая дикого или естественного человека, представляет его невнимательным, нелюбопытным, живущим всегда в одной сфере чувственных впечатлений, без всяких отвлеченных идей — думающим только об утолении голода и жажды и проводящим большую часть времени во сне и бесчувствии, — одним словом, зверем: тот сочиняет роман и описывает человека, который совсем не есть человек. Ни в Африке, ни в Америке не найдем мы таких бессмысленных людей. Нет! И готтентоты любопытны; и кафры стараются умножать свои понятия; и карайбы имеют отвлеченные идеи, ибо у них есть уже язык, следствие многих умствований и соображений<sup>1</sup>. — Или пусть младенец будет нам примером юного человечества, младенец, которого душа чиста еще от всех наростов, несвойственных ее натуре! Не примечаем ли в нем желанья знать все, что представляется глазам его? Всякий шум, всякий необыкновенный предмет не возбуждает ли его внимания? — В сих первых движениях души видит философ определение человека; видит, что мы сотворены для *знаний, для науки*.

Что суть искусства? — Подражание натуре. Густые, сросшиеся ветви были образом первой хижины и основанием архитектуры; ветер, веявший в отверстие сломленной трости или на струны лука, и поющие птички научили нас музыке — тень предметов — рисованью и живописи. Горлица, сетующая на ветви об умершем дружке своем, была наставницею первого элегического поэта;<sup>2</sup> подобно ей хотел он выражать горесть свою, лишась милой подруги, — и все песни младенческих народов начинаются сравнением с предметами или действиями природы.

Но что ж заставило нас подражать натуре, то есть что произвело искусства? *Природное* человеку стремление к улучшению бытия своего, к умножению жизненных приятностей. От первого шалаша до Луврской колоннады, от первых звуков простой свирели до симфоний Гайдена, от первого начертания дерев до картин Рафаэлевых, от первой песни дикого до поэмы Клопштоковой человек следовал сему стремлению. Он хочет жить *покойно*: рождаются так называемые *полезные искусства*; возносятся здания, которые защищают его от свирепости стихий. Он хочет жить *приятно*: являются так называемые *изящные искусства*, которые усыпают цветами жизненный путь его.

Итак, искусства и науки *необходимы*: ибо они суть плод природных склонностей и дарований человека и соединены с существом его, подобно как действия соединяются с причиною, то есть союзом неразрывным. Успехи их показывают, что духовная натура наша в течение времен, подобно как золото в горниле, очищается и достигает большего совершенства; показывают великое наше преимущество пред всеми иными

---

<sup>1</sup> Например, всякое прилагательное имя есть отвлечение. Времена глаголов, местоимения — все сие требует утонченных действий разума.

<sup>2</sup> Я думаю, что первое пиитическое творение было не что иное, как изливание томно-горестного сердца; то есть, что первая поэзия была элегическая. Человек веселящийся бывает столько занят предметом своего веселья, своей радости, что не может заняться описанием своих чувств; он наслаждается и ни о чем более не думает. Напротив того, горестный друг, горестный любовник, потеряв милую половину души своей, любит думать и говорить о своей печали, изливать, описывать свои чувства; избирает всю природу в поверенные грусти своей; ему кажется, что журчащая речка и шумящее дерево соболезнают о его утрате; состояние души его есть уже, так сказать, поэзия; он хочет облегчить свое сердце и облегчает его — слезами и песнию. — Все веселье стихотворения произошли в позднейшие времена, когда человек стал описывать не только свои, но и других людей чувства; не только настоящее но и прошедшее; не только действительное, но и возможное или вероятное.

животными, которые от начала мира живут в одном круге чувств и мыслей, между тем как люди беспрестанно его распространяют, обогащают, обновляют.

Я помню — и всегда буду помнить — что добрейший и любезнейший из наших философов, великий Боннет, сказал мне однажды на берегу Женевского озера, когда мы, взирая на заходящее солнце, на золотые струи Лемана, говорили об успехах человеческого разума. «Мой друг!.. — сим именем называет Боннет<sup>1</sup> всех тех, которые приходят к нему с любовью к истине... — Мой друг! Размышляющий человек может и должен надеяться, что впоследствии веков объяснится весь мрак в путях философии и заря наших смелейших предчувствий будет некогда солнцем уверения. Знания разливаются, как волны морские; необозримо их пространство; никакое острое зрение не может видеть отдаленного берега — но когда явится он утружденному взору мудрецов; когда мы узнаем все, что в странах подлунных знать можно: тогда — может быть — исчезнет мир сей, подобно волшебному замку, и человечество вступит в другую сферу жизни и блаженства». — Небесный свет сиял в сию минуту на лице женевского философа, и мне казалось, что я слышу глас пророка.

Так искусства и науки неразлучны с существом нашим — и если бы какой-нибудь дух тьмы мог теперь в одну минуту истребить все плоды ума человеческого, жатву всех прошедших веков: то потомки наши снова найдут потерянное, и снова воссияют искусства и науки, как лучезарное солнце на земном шаре. Драгоценное собрание знаний, по воле гнусного варвара, было жертвою пламени в Александрии; но мы знаем теперь то, чего ни греки, ни римляне не знали. Пусть новый Омар, новый Амру факелом Тизифоны превратит в пепел все наши книгохранилища! В течение грядущих времен родятся новые Баконны, которые положат новое и, может быть, еще твердее основание храма наук; родятся новые Невтоны, которые откроют законы всемирного движения; новый Локк изъяснит человеку разум человека; новые Кондилляки, новые Боннеты силою ума своего оживят статуя<sup>2</sup>, и новые поэты воспоют красоту природы, человека и славу Божию: ибо все то, чему мы удивляемся в книгах, в музыке, на картинах, все то излилось из души нашей и есть луч божественного света ее, произведение великих ее способностей, которых никакой Омар, никакой Амру не может уничтожить. Перемените душу, вы, ненавистники просвещения! Или никогда, никогда не успеете в человеколюбивых своих предприятиях; и никогда Прометеев огонь на земле не угаснет!

Заклучим: ежели искусства и науки в самом деле зло, то они *необходимое* зло — зло, истекающее из самого естества нашего; зло, для которого природа сотворила нас. Но сия мысль не возмущает ли сердца? Согласна ли она с благостию природы, с благостию творца нашего? Мог ли всевышний произвести человека с любопытною и разумною душою, когда плоды сего любопытства и сего разума должны были быть пагубны для его спокойствия и добродетели? Руссо! Я не верю твоей системе.

*Науки портят нравы*, говорит он: *наш просвещенный век служит тому доказательством.*

Правда, что осьмой-надесять век просвещеннее всех своих предшественников; правда и то, что многие пишут на него сатиры; многие, кстати и некстати, восклицают: «O tempora! O mores!» — «O времена! O нравы!» Многие жалуются на разврат, на губительные пороки наших времен — но много ли философов? Много ли размышляющих людей? Много ли таких, которые проникают взором своим во глубину нравственности и могут справедливо судить о феноменах ее? Когда нравы были лучше нынешних? Неужели в течение средних веков, тогда, когда грабеж, разбой и убийство почитались самым обыкновенным явлением? Пусть заглянут в старые летописи и

<sup>1</sup> Он был еще жив, когда я писал сии примечания.

<sup>2</sup> См. «Essai analitique sur l'Аme», par Bonnet, и «Traité des Sensations», par Condillac («Аналитические рассуждения о Душе» Боннета и «Трактат об ощущениях» Кондилляка (франц.). — Ред.).

сличат их с историей наших времен! — Нам будут говорить о Сатурновом веке, счастливой Аркадии... Правда, сия вечно цветущая страна, под благим, светлым небом, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любят друг друга, как нежные братья, не знают ни зависти, ни злобы, живут в благословенном согласии, повинуются одним движениям своего сердца и блаженствуют в объятиях любви и дружбы, есть нечто восхитительное для воображения чувствительных людей; но — будем искренны и признаемся, что сия счастливая страна есть не что иное, как приятный сон, как восхитительная мечта сего самого воображения. По крайней мере никто еще не доказал нам исторически, чтобы она когда-нибудь существовала. Аркадия Греции не есть та прекрасная Аркадия, которою древние и новые поэты прельщают наше сердце и душу.

J'ouvre les fastes: sur cet âge  
Partout je trouve des regrets;  
Tous ceux qui m'en offrent l'image,  
Se plaignent d'être nés après. <sup>1</sup>

Самые отдаленнейшие времена, освещаемые факелом истории, — времена, в которые искусства и науки были еще, так сказать, в бессловесном младенчестве, — не представляют ли нам пороков и злодеяний? Сам ты, о Руссо! животворною своею кистью изобразил одно из сих страшных происшествий древности, которые возмущают всякое чувство <sup>2</sup> и показывают, что сердце человеческое осквернилось тогда самым гнуснейшим развратом.

Ты обвиняешь век наш утонченным лицемерием, притворством; но отчего же порок старается ныне скрывать себя под личиною добродетели более, нежели когда-нибудь? Не оттого ли, что в нынешние времена гнушаются им более, нежели прежде? Самое сие относится к чести наших нравов; и если мы обязаны тем просвещению, то оно благотворно и спасительно для нравов. Иначе можно будет доказать, что и добродетель развращает людей, заставляя порочного лицемерить: ибо никогда не имеет он такой нужды притворяться добрым, как в присутствии добрых. — Вообразим двух человек, которые оба злонравны, но с тем различием, что один явно предается своим склонностям и, следственно, не стыдится их, а другой таит оные и, следственно, сам чувствует, что они не похвальны: кто из них ближе к исправлению? Конечно, последний: ибо первый шаг к добродетели, как говорят древние и новые моралисты, есть познание гнусности порока.

Мысль, что во времена невежества не могло быть столько обманов, как ныне, для того, что люди не знали никаких тонких хитростей, есть совершенно ложная. Простые так же друг друга обманывают, как и хитрые: первые — грубым образом, а вторые — искусным, ибо мы не можем быть ни равно просты, ни равно хитры. Вспомним жрецов идолопоклонства: они были, конечно, не ученые, не мудрецы, но умели ослеплять людей, — и кровь человеческая лилась на жертвенниках.

Сия учтивость, сия приветливость, сия ласковость, которая свойственна нашему времени и которую новые Тимоны <sup>3</sup> называют сусальным золотом осьмого-надесять века, в глазах философа есть истинная добродетель общежития и следствие утонченного человеколюбия. Не спорю, что отереть слезы бедного, отвратить грозную бурю от своего брата гораздо похвальнее и важнее, нежели приласкать человека добрым словом или улыбкою; но все то, чем мы можем доставить друг другу невинное удо-

<sup>1</sup> Я открываю летописи: об этом веке повсюду нахожу я сожаления; и все, кто мне изображает его, скорбят о том, что родились слишком поздно (*франц.*). — *Ред.*

<sup>2</sup> Вв. *Lévite d'Ephraïm* (Библия, книга левита Эфраима (*Франц.*). — *Ред.*

<sup>3</sup> Известно, что Афинский Тимон был великий мизантроп. «Я люблю тебя, — сказал он Альцибиаду, — за то, что ты сделаешь довольно зла своему отечеству».

вольствие, есть должность наша — и кто хотя одну минуту жизни сделал для меня приятною, тот есть мой благодетель. Мудрая, любезная натура не только дает нам пищу; она производит еще и алую розу и белую лилию, которые не нужны для нашего физического существования — но они приятны для обоняния, для глаз наших, и натура производит их. Учтивость, приветливость есть цвет общежития.

«Спартанцы не знали ни наук, ни искусств, — говорит наш мизософ, — и были добродетельнее прочих греков, — и были непобедимы. Когда невежество царствовало в Риме, тогда римляне повелевали миром; но Рим просветился, и северные варвары наложили на него цепи рабства»<sup>1</sup>.

*Во-первых*, спартанцы не были такими невеждами и грубыми людьми, какими хочет их описывать женевакский гражданин. Они не занимались ни астрономиею, ни метафизикою, ни геометриею: но у них были другие науки и самые изящные искусства. Они имели свое нравоучение, свою логику, свою риторику, хотя учились им не в академиях, а на площадях, — не от профессоров, а от своих эфоров. Не священная ли поэзия пригостила сих республиканцев к Ликурговым уставам? Песнопевец Фалес<sup>2</sup> был предтечею сего законодателя; явился в Спарте с златострунною лирою, воспел счастье мудрых законов, благо согласия и восхитил сердца слушателей. Тогда пришел Ликург, спартанцы приняли его как друга богов и человек, которого устами вещала истина и мудрость. Во время второй Мессенской войны повелевал лакедемонцами афинский поэт Тиртей; он пел, играл на арфе, и воины его, как яростные вихри, стремились на брань и смерть: доказательство, что сердца их отверзались *впечатлениям изящного*, чувствовали в истине красоту и в красоте истину! — У них были и собственные свои поэты, например Алкман, который « всю жизнь свою посвящал любви и во всю жизнь свою воспевал любовь»; были музыканты и живописцы — первые гармониею струн своих возбуждали в них ревность геройства; кисть вторых изображала *красоту и силу*, в виде Аполлона и Марса, чтобы спартанки, обращая на них взоры свои, рождали Аполлонов и Марсов, — были и риторы, которые в собраниях народа или на печальных празднествах, учрежденных в память Павзанию и Леониду, убеждали и трогали сограждан своих, — например, самые афинцы удивлялись красноречию спартанца Бразида и сравнивали его с лучшими из греческих ораторов. Законы лакедемонские не запрещали наслаждаться изящными искусствами, но не терпели их злоупотребления. Для сего-то *эфоры* не позволяли гражданам своим читать соблазнительных творений сатирика Архилоха; для сего-то велели они молчать лире одного музыканта, который нежною, томною игрою вливал яд сладострастия в души воинов; для сего-то выгнали они из Спарты того ритора, который хотел говорить о всех предметах с равным искусством и жаром. Истинное красноречие, одушевленное правдою, на правде основанное, было им любезно, ложное, софистическое — ненавистно. Их теория нравственности представлялась в пример ясной краткости, силы и убедительности, так что многие философы древности, например, Фалес, Питтак и другие, заимствовали от них методы своего учения.

*Во-вторых* — точно ли спартанцы были добродетельнее прочих греков? Не думаю. Там, где в забаву убивали бедных невольников, как диких зверей; где тирански умерщвляли слабых младенцев, для того что республика не могла надеяться на силу руки их, — там, следуя общему человеческому понятию, нельзя искать нравственного совершенства. Если древние говорили, что «самый спартанский воздух вселяет, кажется, *аретин*», то под сим словом разумели они не то, что мы разумеем ныне под

<sup>1</sup> Все, что Руссо говорит в своем «Discours» («Рассуждении» (франц.). — Ред.), взято из «Essais» de Montaigne («Опытов» Монтеня (франц.). — Ред.), главы XXIV, «Du Pedantisme» («О педантизме» (франц.). — Ред.). Жан-Жак любил Монтеня.

<sup>2</sup> Сей поэт Фалес жил прежде мудреца Фалеса, или Талеса.

именем *добродетели*, *vertu*, *Tugend*, а *мужество* или *храбрость*<sup>1</sup>, которая только по своему употреблению бывает добродетелию. Спартанцы были всегда храбры, но не всегда добродетельны. Леонид и друзья его, которые принесли себя в жертву отечеству, суть мои герои, истинно великие мужи, полубоги; без слез не могу я думать о славной смерти их при Термопилах, — но когда питомцы Ликурговых законов лили кровь человеческую для того, чтобы умножить число своих невольников и поработить слабейшие греческие области: тогда храбрость их была злодейством — и я радуюсь, что великий Эпаминонд смирил гордость сих республиканцев и с надменного чела их сорвал лавр победы.

Просвещенные Афины, где, так сказать, возрастали все наши искусства и науки, — Афины производили также своих героев, которые в великодушии и храбрости не уступали лакедемонским. Фемистокл, Аристид, Фокион! Кто не удивляется вашему величию? Вы сияете в истории человечества, как благодетельные светила, — и вечно сиять будете! — Сам божественный Сократ, первый из мудрецов древности, был храбрый воин; от высочайших умозрений философии летел он на поле брани умирать за любезные Афины — и я не знаю, кто более имеет причин любить и защищать свое отечество — [сын Софронисков или какой-нибудь абдерит](#): первый наслаждается в нем всеми благами жизни, цветами природы, искусства, самим собою, своим человечеством, силами и способностями души своей; а второй в благословенной Абдере — *живет*, и более ничего. Для кого страшнее узы варваров? Сократ, сражаясь за Афины, сражается за место своего счастья, своих удовольствий, которые вкушал он в садах философских, в беседе друзей и мудрецов, — абдерит и под игом персидским может быть абдеритом<sup>2</sup>.

Что принадлежит до Рима, то науки не могли быть причиною его падения, когда Сципионы посвящали им все свободные часы свои и были Сципионами; когда Катон, умирая вместе с республикою, в последнюю ночь жизни своей читал Платона; когда Цицерон, ученейший римлянин своего времени, презирал опасность и гремел против Катилины. Сии герои были питомцы наук, и притом герои; более таких мужей — и Рим бессмертен в своей величии!

Я согласен, что чрезмерная роскошь, которая царствовала наконец в Риме, была пагубна для республики: но какую связь имеет роскошь с науками? Сия политическая и нравственная язва перешла в Рим из стран азиатских вместе с великим богатством, которое бывает ее источником и пищею. Чем же обогатились потомки Ромуловы? Конечно, не науками, но завоеваниями — и таким образом причина славы их сделалась наконец причиною их гибели.

Успех самых *приятных искусств* нимало не зависит от богатства. Поэт, живописец, музыкант имеют ли нужду в [Моголовых сокровищах](#) для того, чтобы сочинить бессмертную поэму, написать изящную картину, очаровать слух наш сладкими звуками? Потребны ли сокровища и для того, чтобы наслаждаться великими произведениями искусств? Для первого нужны таланты, для второго потребен вкус: и то и другое есть особый дар неба, который не в мрачных недрах земли хранится и не с золотым песком приобретается<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Арети* происходит от *Арис*. Сим именем, как известно, называется по-гречески Марс.

<sup>2</sup> Говорят еще, что упражнение в науках или в искусствах расслабляет телесные силы, нужные воину; но разве ученый или художник непременно должен морить себя в кабинете? Соблюдая умеренность в трудах своих, он может служить отечеству рукою и грудью не хуже других граждан. Впрочем, не атлетовы силы, но любовь к отечеству делает воинов непобедимыми.

<sup>3</sup> Но чем же в бедной земле будет награжден писатель или художник? Похвалою, одобрением, удовольствием своих сограждан: вот то, что истинному артисту всего милее, всего дороже! — Музы не умеют считать денег и бегут от железных сундуков, на которых гремят замки и запоры. Там, где любят их чистым сердцем; где умеют чувствовать красоту их — там они всем довольны, довольны бедною хижиною и ключевою водою. В другое место не заманишь их и славным бриллиантом португальской королевы.

И кто имеет более алчности к богатству — просвещенный человек или невежда? Человек с дарованиями или глупец? Философ ценит умозрения свои дороже золота. Архимед не взял бы миллионов за ту минуту, в которую воскликнул он: «Эврика! Нашел! Нашел!» Камознс не думал о своем имени, когда тонул корабль его, но, бросившись в море, держал он в правой руке «Лузиаду». Сии отменные люди находят в самих себе источник живейших удовольствий — и по тому самому богатство не может быть их идолом.

Но сколько заблуждений в науках! Правда, для того, что они несовершенны; но предмет их есть истина. Заблуждения в науках суть, так сказать, чуждые наросты и рано или поздно исчезнут. Они подобны тем волнистым облакам, которые в час утра показываются на востоке и бывают предтечами золотого солнца. Из темной сени невежества должно идти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения; но мы придем к прелестной богине, придем, несмотря на все препоны, и в ее эфирных объятиях вкусим небесное блаженство. Высочайшая премудрость не хотела нас удалить от нее сими различными затруднениями, ибо мы можем преодолеть их и, сражаясь с оными, чувствуем некоторую радость во глубине сердец своих: верный знак того, что действуем согласно с нашим определением!<sup>1</sup> Кажется, будто натура, скрывая иногда истину — по словам философа Демокрита — на дне глубокого кладезя, хочет единственно того, чтобы мы доле наслаждались приятным исканием и тем живее чувствовали красоту ее. Так нежная Дафна бежит и скрывается от страстного Палемона, единственно для того, чтобы еще более воспалить жаркую любовь его!

«Науки с искусствами вредны и потому, — продолжает их славный антагонист, — что мы тратим на них драгоценное время»; но как же, уничтожив все науки и все искусства, будем употреблять его? На земледелие, на скотоводство? Правда, что земледелие и скотоводство всего нужнее для нашего существования; но можем ли занять ими все часы свои? Что станем мы делать в те мрачные дни, когда вся природа сетует и облекается в траур? Когда северные ветры обнажают рощи, пушистые снега усыпают железную землю и дыхание хлада замыкает двери жилищ наших; когда земледелец и пастух со вздохом оставляют поля и заключаются в своих хижинах? Тогда не будет уже книг, благословенных книг, сих верных, милых друзей, которые доселе улаждали для нас печальную осень и скучную зиму, то обогащая душу великими истинами философии, то извлекая слезы чувствительности из глаз наших трогательными повествованиями. Священная небесная меланхолия, мать всех бессмертных произведений ума человеческого! Ты будешь чужда хладному нашему сердцу; оно забудет тогда все благороднейшие свои движения, и сие пламя всемирной, любви, которое развевает в нем творения истинных мудрецов и друзей человечества, подобно угасающей лампаде блеснет — и померкнет!.. Руссо! Руссо! Память твоя теперь любезна человекам; ты умер, но дух твой живет в «Эмиле», но сердце твое живет в «Элоизе» — и ты восставал против наук, против словесности! И ты проповедывал счастье невежества, славил бессмыслие, блаженство зверской жизни! Ибо что иное, как не зверь, есть тот человек, который живет только для удовлетворения своим физическим потребностям? Неужели скажут нам, что он, удовлетворяя сим потребностям, спокоен и счастлив? Ах нет! На золотом диване и в темной хижине он беден и злополучен; на золотом диване и в темной хижине чувствует он вечный недостаток, вечную скуку. Один, чтобы наполнить сию мучительную пустоту сердца,

---

<sup>1</sup> Во всяком случае, где мы удаляемся от мудрого плана природы, от ее цели, обыкновенно чувствуем в душе своей некоторую тоску, неудовольствие, неприятность. Сие противное чувство говорит нам: «Ты оставил путь, предписанный тебе природою: обратись на него!» Кто не повинуется сему гласу, тот вечно будет несчастлив. — Напротив того, всегда, когда действуем сообразно с нашим определением или с волею великого творца, чувствуем некоторое тихое удовольствие, радость. Сие чувство говорит нам: «Ты идешь путем, предписанным тебе природою: не сворачивай с него!»



выдумывает тысячу мнимых нужд, тысячу мнимых потребностей жизни;<sup>1</sup> другой, угнетаемый бременем мысленной силы своей, ищет облегчения в совершенном забвении самого себя или прибегает к ужасному распутству. — Так, конечно! Человек носит в груди свой пламень Этнос: живое побуждение деятельности, которое мучит праздного, — искусства же и науки суть благотворный источник, утоляющий сию душевную жажду.

«Но разве добродетель не может занять души твоей? — возражает Руссо. — Учись быть нежным сыном, супругом, отцом, полезным гражданином, человеком, и ты не будешь празден!» Что же есть мораль, из наук важнейшая, альфа и омега всех наук и всех искусств? Не она ли доказывает человеку, что он для собственного своего счастья должен быть добрым? Не она ли представляет ему необходимость и пользу гражданского порядка? Не она ли соглашает волю его с законами и делает его свободным в самых узах? Не она ли сообщает ему те правила, которые разрешают его недоумения во всяком затруднительном случае, и верною стезею ведет его к добродетели? — Все животные, кроме человека, подвержены уставу необходимости: для них нет выбора, нет ни добра, ни зла; но мы не имеем сего, так сказать, *деспотического чувства*, сего естественного побуждения, управляющего ими; вместо его дан человеку разум, который должен *искать* истины и добра. Зверь видит и действует; мы видим и рассуждаем, то есть сравниваем, разбираем и потом уже действуем.

«Отчего же те люди, которые посвящают жизнь свою наукам, нередко имеют порочные нравы?» — Конечно, не оттого, что они в науках упражняются, но совсем от других причин: например, от худого воспитания, сего главного источника нравственных зол, и от худых навыков, глубоко вкоренившихся в их сердце. Любезные музы врачуют всегда душевные болезни. Хотя и бывают такие злые недуги, которых не могут они излечить *совершенно*; но, во всяком случае, действия их благотворны — и человек, который, невзирая на нежный союз с ними, все еще предается порокам, во мраке невежества сделался бы, может быть, страшным чудовищем, извергом творения. Искусства и науки, показывая нам красоты величественной природы, возвышают душу; делают ее чувствительнее и нежнее, обогащают сердце наслаждениями и возбуждают в нем любовь к порядку, любовь к гармонии, к добру, следственно — ненависть к беспорядку, разгласию и порокам, которые расстроивают прекрасную связь общежития. Кто чрез мириады блестящих сфер, кружащихся в голубом небесном пространстве, умеет возноситься духом своим к престолу невидимого божества; кто внимает гласу его и в громах и в зефирах, в шуме морей и — собственном сердце своем; кто в атоме видит мир и в мире — атом беспредельного творения; кто в каждом цветочке, в каждом движении и действии природы чувствует дыхание вышней благости и в алых небесных молниях лобызает край Саваофовой ризы: тот не может быть злодеем. На мраморных скрижалях истории, между именами извергов, покажут ли нам имя Баккона, Декарта, Галлера, Томсона, Геснера?.. Наблюдатель человечества! Будь вторым Говардом и посети мрачные обитатели, где ожесточенные преступники ждут себе праведного наказания, — сии несчастные, долженствующие кровию своею примириться с раздраженными законами; спроси — если не онемеют уста твои в сем жилище страха и ужаса, — спроси, кто они? И ты узнаешь, что просвещение не было никогда их долею и что благодетельные лучи наук никогда не озаряли хладных и жестоких сердец их. Ах! **Тогда поверишь, что ночь и тьма есть жилище грей, горгон и гарпий**; что все изящное, все доброе любит свет и солнце.

Так! Просвещение есть **палладиум** благодетельности — и когда вы, вы, которым вышняя власть поручила судьбу человеков, желаете распространить на земле область добродетели, то любите науки и не думайте, чтобы они могли быть вредны; чтобы

<sup>1</sup> Вот главная причина роскоши! Следственно, науки, будучи врагами праздности, суть враги и сей самой роскоши, которая питается праздностию.

какое-нибудь состояние в гражданском обществе долженствовало пресмыкаться в грубом невежестве, — нет! Сие золотое солнце сияет для всех на голубом своде, и все живущее согревается его лучами; сей текущий кристалл утоляет жажду и властелина и невольника; сей столетний дуб обширною своею тению прохлаждает и пастуха и героя. Все люди имеют душу, имеют сердце: следственно, все могут наслаждаться плодами искусства и науки, — и кто наслаждается ими, тот делается лучшим человеком и спокойнейшим гражданином — спокойнейшим, говорю: ибо, находя везде и во всем тысячу удовольствий и приятностей, не имеет он причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь. — Цветы граций украшают всякое состояние — и просвещенный земледелец, сидя после трудов и работы на мягкой зелени с нежною своею подругою, не позавидует счастью роскошнейшего сатрапа.

*Просвещенный земледелец!* — Я слышу тысячу возражений, но не слышу ни одного справедливого. Быть просвещенным есть быть здравомыслящим, не ученым, не полиглотом, не педантом. Можно судить справедливо и по правилам строжайшей логики, не читав никогда схоластических бредней о сей науке; не думая о том, кто лучше определяет ее: Томазий или Тширнгауз, Меланхтон или Рамус, Клерикус или Буддеус; не зная, что такое *энфинемата, барбара, целарент, ферио* и проч. Для сего, конечно, не достанет земледельцу времени, — ибо он должен обрабатывать поля свои; но для того, чтобы мыслить здраво, нужно только впечатлеть в душу некоторые правила, некоторые вечные истины, которые составляют основание и существо логики, — для сего же найдет он в жизни своей довольно свободных часов, равно как и для того, чтобы узнать премудрость, благость и красоту природы, которая всегда пред глазами его, — узнать, любить ее и быть счастливее.

Я поставлю в пример многих швейцарских, английских и немецких поселян, которые пахут землю и собирают библиотеки; пахут землю и читают Гомера и живут так чисто, так хорошо, что музам и грациям не стыдно посещать их. Кто не слышал о славном цюрихском крестьянине Клейнийоке, у которого философы могли учиться философии, с которым Бодмер, Геснер, Лафатер любили говорить о красотах природы, о величестве творца ее, о сани и должностях человека? — Недалеко от Мангейма живет и теперь такой поселянин, который читал всех лучших немецких и даже иностранных авторов и сам пишет прекрасные стихи<sup>1</sup>. Сии упражнения не мешают ему быть трудолюбивейшим работником в своей деревне и прославлять долю свою. «Всякий день, — говорит он<sup>2</sup>, — благодарю я Бога за то, что он определил мне быть поселянином, которого состояние есть самое ближайшее к природе и, следственно, самое счастливейшее».

Законодатель и друг человечества! Ты хочешь *общественного блага*: да будет же первым законом твоим — *просвещение!* Гласом оного благодетельного грома, который не умерщвляет живущего, а напояет землю и воздух питательными и плодотворными силами, вещай человекам: *созерцайте природу и наслаждайтесь ее красотою; познавайте свое сердце, свою душу; действуйте всеми силами, творческою рукою вам данными, — и вы будете любезнейшими чадами неба!*

Когда же свет учения, свет истины озарит всю землю и проникнет в самые темнейшие пещеры невежества: тогда, может быть, исчезнут все нравственные гарпии, доселе осквернявшие человечество, — исчезнут, подобно как привидения ночи на рассвете дня исчезают; тогда, может быть, настанет золотой век поэтов, век благодетельства, — *и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты*, там сядет добродетель на светлом троне. —

Между тем вы составляете мое утешение, вы, нежные чада ума, чувства и воображения! С вами я богат без богатства, с вами я не один в уединении, с вами не знаю ни

<sup>1</sup> Многие из них читал я в «Немецком музее».

<sup>2</sup> Один из моих знакомых был у него в гостях.

скуки, ни тяжелой праздности. Хотя живу на краю севера, в отечестве грозных аквилоннов, но с вами, любезные музы! с вами везде *долина Темпейская* — коснетесь рукою, и печальная сосна в лавр Аполлонов превращается; дохнете божественными устами, и на желтых хладных песках цветы олимпийские расцветают. Осыпанный вашими благами, дерзаю презирать блеск тщеславия и суетности. Вы и природа, природа и любовь добрых душ — вот мое счастье, моя отрада в горестях!.. Ах! Я иногда проливаю слезы и не стыжусь их!

Меня не будет — но память моя не совсем охладет в мире; любезный, нежно образованный юноша, читая некоторые мысли, некоторые чувства мои, скажет: *он имел душу, имел сердце!*

## КОММЕНТАРИИ

Статья написана зимой — весной 1793 года, впервые опубликована в альманахе «Аглая», 1794, ч. I. Воспроизводится по изданию: Карамзин Н.М. Избранные сочинения в двух томах. М.; Л., 1964. Т. 2. Стр. 122-142. Примечания Г. Макогоненко.

*...фарос...* — маяк.

*...эфоры...* — в древней Спарте избранные представители народного собрания, наблюдавшие за действиями администрации.

*...сын Софронисков...* — греческий философ Сократ, сын малоизвестного скульптора Софрониска.

*...или какой-нибудь абдерит...* — Абдерит — житель города Абдера, греческой колонии. Абдера считалась захолустным городком, с отсталой, по сравнению с древнегреческой, культурой. Отсюда нарицательное «абдерит» — смешной провинциал, небольшой культуры человек.

*...Моголовы сокровища...* — Великий Могол — титул государей тюркской династии (основанной султаном Бабуром), властвовавшей в Индии около трех столетий; моголы обладали огромным богатством.

*...но дух твой живет в «Эмиле», но сердце твое живет в «Элоизе»...* — Имеются в виду романы Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) и «Юлия или Новая Элоиза» (1761).

*...тогда поверишь, что ночь и тьма есть жилище грей, горгон и гарпий...* — Речь идет о мифологических чудовищах.

*...палладиум...* — защита, оплот (от имени богини Афины Паллады, защищавшей, по верованию древних греков, безопасность их городов).

*...энфинемата, барбара, целарент, ферио...* — различные формы силлогизмов в схоластической логике.

*...и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты...* — Видимо, подразумевается Франция, где в январе 1793 года казнили короля Людовика XVI.

*...долина Темпейская...* — долина в Греции, между горами Оссоною и Олимпом, орошаемая рекою Пенеем. Ее красоту неоднократно воспевали древнегреческие поэты.